

## **ИДЕИ И ПРАКТИКА: РЕФЛЕКСИВНЫЕ ОСНОВАНИЯ СОВРЕМЕННОЙ КОМПАРАТИВИСТИКИ**

---

**О.Ю. МАЛИНОВА**

### **КОНЦЕПТ «ДРУГОГО» В ИССЛЕДОВАНИЯХ ИДЕНТИЧНОСТИ: АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ ДИСКУССИЙ<sup>1</sup>**

Концепт «другого» – неотъемлемый элемент многих современных теорий идентичности, релевантность которого почти не вызывает сомнений. Со времен Ж.-Ж. Руссо и Г.В.Ф. Гегеля считается общепринятым, что «я» невозможно без «другого», ибо тот не только задает границы, необходимые для самоопределения «я», но и формирует пространство диалога, в котором происходят взаимосвязанные процессы идентификации и самоидентификации. Интерес к проблематике идентичности, наблюдающийся в последние десятилетия, способствовал более широкому использованию концепта «другого» в различных социально-научных и гуманитарных дисциплинах: из философии и cultural studies он перекочевал в психологию, антропологию, географию, социологию, политическую науку и международные отношения, а также в междисциплинарные области исследований национализма и этничности, постколониальных исследований и исследований миграции. Поиск по ключевым словам выявляет десятки публикаций, в названиях которых присутствуют термины «другой» / «the other» / «othering». Фигура «другого» кажется настолько интуитивно очевидной, что не-

---

<sup>1</sup> Исследование проводится при поддержке Российского гуманитарного научного фонда, грант № 14-03-00490 а.

которые авторы, использующие этот термин в заглавиях своих работ, обходятся без его дефиниций [см., напр.: Representations... 2004; Морозов, 2009; Крестинина, 2011 и др.]. На наш взгляд, такое пренебрежение к разработке понятия является следствием того, что оно нередко берется в качестве «самоочевидной» отправной точки: поскольку внимание большинства авторов сосредоточено на конституировании «я», «другой» интересует их преимущественно в качестве абстрактного носителя функции «маркера границы» или «зеркала».

Вместе с тем более пристальное прочтение литературы показывает, что в исследовании феномена «другого» и его отношений с «я» есть немало нерешенных проблем. Перенос концепта «другого» из философии в социальные науки требует проблематизации того, что кажется «очевидным», и постановки вопросов, требующих эмпирических, а не спекулятивных ответов. Тенденция к такого рода переосмыслению в последние годы наметилась в различных дисциплинарных областях, однако исследователи мировой политики и международных отношений здесь уверенно лидируют. Повидимому, это не случайно: при переходе на региональный и глобальный уровень анализа становятся заметны нестыковки умозрительных конструкций, кажущихся привычными для изучающих проблематику идентичности на национальном уровне. Для отечественного читателя эта литература представляет дополнительный интерес в связи с тем, что многих исследователей-международников, изучающих проблематику идентичности, привлекает именно российский материал: как объясняет это Энн Клуна, случай страны, переопределяющей свою идентичность в контексте крупномасштабной социально-политической трансформации, «настолько близок к естественному эксперименту, насколько история вообще допускает таковой» [Clunan, 2009, p. 1; see also: Herman, 1996; Neumann, 1999; Нойманн, 2004; English, 2000; Hopf, 2002; Godzimerski, 2008; Морозов, 2009; Casula, 2010 и др.]. В этой статье мы попытаемся суммировать предварительные итоги дискуссий о феномене «другого» и связке «я» – «другой» и наметить круг вопросов, нуждающихся в дополнительном эмпирическом исследовании и теоретическом осмыслении.

Прежде всего следует признать, что понятие «другой» действительно отличается расплывчатостью. Его семантика связана с инаковостью, наличием различий, которые воспринимаются как

значимые, способные задавать границы. Очевидно, что инаковость может иметь различные социальные последствия, спектр которых варьируется от признания несходства «я» и «другого» до антагонизма и враждебности. Кроме того, поскольку категория «другого» описывает конструирование границ, она связывается с исключением<sup>1</sup>, которое, однако, может быть как полным, так и частичным. Вместе с тем «друговость» достаточно часто – особенно в политическом контексте – ассоциируется именно с антагонизмом и крайними формами исключения. Например, по утверждению О.В. Поповой, «процесс формирования *политической идентичности* (курсив автора. – О. М.) предполагает осознание кого-либо в качестве «чужака» или «врага», так как одним из компонентов близости является отдаление, и тождество с определенной группой людей или идей не будет по-настоящему полным без эффективного отрицания другой части» [Попова, 2011, с. 191]. Следует признать, что подобный подход, развивающий интерпретацию политического К. Шмитом, имеет немало последователей среди современных политических философов. Однако в социальной практике использование различий для конструирования границ не всегда сопряжено с «эффективным отрицанием» – напротив, в современном мире имеет место умножение гибридных идентичностей, основанных на частичном включении / исключении, – и вопрос о механизмах политической мобилизации таких идентичностей – эмпирический, а не теоретический. Так или иначе, если признать, что социальные идентичности всегда реляционны, т.е. основаны на (со) отношении с «другими», получается, что данный концепт описывает фундаментальное, но чрезвычайно разнородное явление, которое нуждается в спецификации и классификации.

До недавнего времени необходимость «другого» для конструирования идентичности «я» не ставилась под сомнение. Однако в 2005 г. один из наиболее престижных политологических журналов – «American Political Science Review» – опубликовал статью Араша Абизадеха из канадского университета МакГилл с провокационным названием: «Действительно ли коллективная идентичность предполагает Другого?». Ее автор доказывал несостоятельность «партикуля-

---

<sup>1</sup> Именно это качество является определяющим в некоторых дефинициях. См., напр., у Ц. Тодорова: другой – это «специфическая социальная группа, к которой мы не принадлежим» [Todorov, 1992, с. 3].

ристского тезиса», согласно которому коллективная идентичность и солидарность возможны лишь на основе различия «мы» и «они», т.е. требуют противопоставления внешнему «другому». Этот тезис считается веским аргументом против идеи демократически легитимированного космополитического политического порядка, основанного на солидарности с человечеством в целом. По мысли Абизадеха, представление о том, что «я» нуждается во внешнем «другом», не следует механически переносить с индивидуального на групповой уровень, ибо в последнем случае агентами, в диалоге с которыми формируется идентичность, могут выступать и члены собственной группы. Представление же о необходимости внешнего «другого» является следствием реификации логики, характерной для вестфальского порядка: «Кажущийся необходимым партикуляризм национальной идентичности определяется тем, что нация облачена в современное понятие суверенитета» [Abizadeh, 2005, p. 50]. Опираясь на работы С. Краснера и других теоретиков, автор статьи доказывает, что «комбинация “внутреннего” и “внешнего суверенитета” сама по себе является следствием исторически случайного развития, а не концептуальной необходимостью» [ibid., p. 49]. Ту же логику, по его мнению, воспроизводят К. Шмит и его последователи, развивающие идею «политического врага». Хотя выводы Абизадеха не столь радикальны, как название его статьи, его призыв отказаться от рассмотрения отношения «я» – «другой» преимущественно в терминах исключения и антагонизма находит поддержку. Сегодня многие исследователи, описывая это отношение, отказываются «предполагать априори, что различия непременно ведут к противопоставлению на уровне поведения», и предпочитают говорить о «разных способах отношения к различиям на эпистемологическом и поведенческом уровнях, которые требуется устанавливать эмпирически» [Bukh, 2009, p. 320; ср. Petersoo, 2007, p. 119; Tekin, 2010, p. 13–14; McDonagh, 2014, p. 629]. Кроме того, многие разделяют представление о том, что противопоставление «другому» может быть не только «негативным», но и «позитивным» [Rumelili, 2004; Berenskoetter, 2007]. Таким образом, фигура «другого» теперь уже не связывается исключительно с антагонизмом и враждебностью, и в ее описании появляются новые краски.

Предметом отдельной дискуссии стал вопрос о том, насколько функция «другого» связана с пространственными границами. По-

водом для нее послужила идея Оле Вевера о возможности конструирования идентичности ЕС за счет противопоставления европейскому прошлому. Утверждая, что «“Европа” как политическая категория строится не столько через подражание риторике культурной идентичности и общего наследия, сколько на основе особого аргумента безопасности», датский теоретик предположил, что в качестве «отрицаемого другого» в данном случае могут рассматриваться «европейские войны и размежевания». По мысли Вевера, такой аргумент должен работать на конструирование «идентичности безопасности», ибо «“Европа” будет существовать лишь если мы избежим новой фрагментации» [Waever, 1996, 128].

Однако действительно ли образы прошлого могут выполнять функцию «другого» и если да, то как это меняет механизмы конструирования идентичностей? И действительно ли паттерны формирования новой европейской идентичности отличаются от логики, сформированной идеями наций и суверенитета? По предварительным итогам все еще продолжающейся дискуссии на оба вопроса можно дать скорее отрицательные, нежели положительные ответы.

На первый взгляд, временно й принцип конструирования «другого», через противопоставление которому воображается «я» (temporal othering), имеет несомненные преимущества перед геополитическим. По заключению Томаса Диеза, «использование в качестве “другого” географически определяемых политических единиц оказывается более исключаяющим и антагонистическим по отношению к внешним группам, нежели определение “другого” преимущественно через временно й аспект» [Diez, 2004, p. 320]. Впрочем, он признает, что эти два способа не всегда можно разграничить: например, часто используемая колониалистами метафора «отсталости», хотя и конструирует «другого» за счет исторических различий, имеет явную географическую привязку. К. Джонстон и А. Колман, в свою очередь, показали, каким образом временна я логика конструирования «другого» может дополняться и закрепляться пространственной: локализация «другого», обладающего нежелательными характеристиками (стоящего на пути прогресса, единства, сплоченности и т.п.), в конкретном регионе помогает «определить неопределимое», создать вполне конкретный образ группы, которую в противном случае было бы сложно выделить эмпирически – ведь «Юг Италии», «американский Юг» или «западный Китай» в действительности неоднородны. Однако

их репрезентация в качестве «территориальных баз (repositories) отсталости» помогает «поставить различия на службу формированию идентичности» [Johnson, Coleman, 2012, p. 865].

Вместе с тем Т. Диез показывает, что хотя во второй половине XX в. прошлое действительно играло значимую роль в конструировании «Европы», с 1990-х годов в связи с «расширением на восток» в дискурсе о европейской идентичности все большее значение приобретают географические и культурные факторы конструирования границ с Другими<sup>1</sup>. С одной стороны, «Европа» оказывается культурно и географически оспариваемым понятием, и фактор прошлого отнюдь не способствует достижению ясности в вопросе о ее границах. С другой стороны, дискурс безопасности все больше концентрируется на «геополитических других» (Диез выделяет в качестве таковых «ислам», Турцию и США; однако в контексте современного «украинского кризиса» можно с уверенностью говорить об аналогичной роли России) [Diez, 2004]. Таким образом, эмпирическая реальность не подкрепляет предположение О. Вевера о том, что конструирование «идентичности безопасности» ЕС будет следовать паттерну, принципиально отличному от логики геополитических противопоставлений, свойственной нациям-государствам. В свою очередь, С. Прозоров доказывает логическую несостоятельность его посылки, утверждая, что «взаимозависимость пространственного и временно го противопоставления “другому” (othering) – не просто случайный эмпирический факт, но трансцендентальное условие любого исторического действия, конституирующего политического субъекта» [Prozorov, 2011, p. 1275]. Если так, то надежды «преодолеть антагонистический потенциал “друговости” его переключением в исключительно временно й регистр» [ibid.] действительно оказываются тщетными.

Однако это не означает, что временно й принцип противопоставления не имеет значения для конструирования идентичностей. Напротив, на наш взгляд, значение этой дискуссии именно в том, что она привлекла внимание к диалектике геополитики и политики памяти как способов воображения «другого»<sup>2</sup>, которая ну-

<sup>1</sup> См. также [Kuus, 2004].

<sup>2</sup> Интересные наблюдения на этот счет можно обнаружить в книге Хопфа о социальных структурах советской и российской идентичности [Hopf, 2002].

ждается в дальнейшем исследовании (причем не только на европейском материале).

Несмотря на всеобщее убеждение в том, что «идентичности формируются через противопоставление идентичностям значимых других» [Smith, 1992, p. 75], в теоретической литературе нет единства в понимании того, в каких случаях «другой» может считаться «значимым», и что делает его таковым. Географы Кори Джонстон и Аманда Коулман предлагают использовать данный термин для «идентичности, которая осмысливается в качестве наиболее противоположной [“я”. — О. М.], наиболее актуальной (pressing) или своевременной (timely) и выдвигается на первый план в проблематике идентичности» [Johnson, Coleman, 2012, p. 865]. Это определение не связывает «значимость» с контекстом — лишь с тем, насколько существенно (so) отнесение с «другим» в контексте обсуждения проблем, связанных с идентичностью «я». Напротив, определение Анны Триандафиллидоу закрепляет роль «значимого другого» за «другими нациями и / или государствами, от которых данное сообщество пыталось освободиться и / или стремится себя отличить» [Triandafyllidou, 1998, p. 595]. Увязывая значимость «другого» с отношениями, возникающими между конкурирующими группами в контексте нациестроительства, Триандафиллидоу приходит к выводу, что «в каждый отдельно взятый момент времени у нации есть лишь один значимый другой, влияющий на формирование или трансформацию ее идентичности» [ibid., p. 600]. Однако столь категоричный вывод не нашел широкой поддержки — напротив, многие авторы полагают, что «идентичности конституируются через отношения со множественными Другими, которые по-разному воздействуют на идентичность Я, а не относительно единственного архетипического Другого, представляющего анти-Я» [Morozov, Rumelili, p. 32; ср.: Petersoo, 2007, p. 119; Bukh, 2009, p. 320].

На наш взгляд, понятие «значимого другого» полезно не потому, что нацеливает на поиск единственной группы, (so) отношение с которой играет конституирующую роль в формировании идентичности «я» (чаще всего таких групп действительно несколько), а благодаря тому, что оно побуждает к анализу *характера* этого (so) отношения и факторов, его обуславливающих. Принимая в качестве отправной точки определение Джонстон и Коулман, можно сказать, что эмпирическими индикаторами значимости может служить частота обращения к «другому» в контекстах, предпола-

гающих артикуляцию идентичности «я». Можно также предположить, что о значимости свидетельствует и богатство семантического репертуара образов, мифов, стереотипов, символов, используемых для описания «другого». Однако вряд ли этого достаточно для полноценного определения рассматриваемого понятия.

В литературе можно обнаружить ряд догадок относительно факторов, определяющих значимость «другого». Так, по мысли Анны Нортон, «индивидуальные и коллективные идентичности творятся не просто через различие между “я” и “другим”, но в моменты неоднозначности, когда “я” выступает как “другой” по отношению к самому себе, а также через признание “другого” как подобного» [Norton, 1993, p. 7]. Если это предположение верно, группа, которая в чем-то похожа и одновременно в чем-то отлична от «нас», имеет больше шансов оказаться «значимым другим», нежели группа, чье несходство с «нами» настолько несомненно, что исключает возможность тождества. По-видимому, наиболее вероятные кандидаты на эту роль – «пороговые (liminal) группы», отличающиеся одновременно сходством и несходством с «я». Именно этим качеством И. Нойманн объясняет значимость России и Турции в качестве «других» Европы [Neumann, 1999; Нойманн, 2004; ср.: Morozov, Rumelili, 2012]. То же направление указывает и догадка Д. Кэмпбелла, по заключению которого «другой» воспринимается как угроза, если он «оспаривает естественность притязаний конкретной идентичности на роль истинной идентичности» [Campbell, 1992, p. 3]. Суммируя эти догадки, можно заключить, что значимость «другого» не является простым производным от интенсивности его взаимоотношений с «я» (хотя этот фактор также важен) или от степени противоречивости / враждебности таковых; значимость предполагает семантическую напряженность, оспариваемость границ между «я» и «другим», конкуренцию интерпретаций «другого». Значимость определяется тем, как конструируются смыслы; не будучи автономна от конфигурации «реальных» отношений, она следует собственной логике. Впрочем, все это лишь предположения, для подтверждения или опровержения которых нужны более систематические исследования.

Не так давно, приступая к изложению своей конструктивистской теории идентичности и выбора в международной политике, Тед Хопф написал: «Большинство теорий идентичности основываются на априорных предположениях, которые заключают в себе



куда больше допущений относительно того, как это работает, нежели я готов принять» [Norf, 2002, p. 4]. Это наблюдение и сегодня достаточно точно отражает положение вещей с изучением отношений «я» и «другого». С одной стороны, существует набор широко разделяемых теоретических предположений, которые используются в качестве отправных пунктов для рассуждений о роли «другого» в конструировании идентичностей индивидов и групп. Однако они далеко не всегда подкреплены эмпирически и, как мы видели на примерах дискуссий о необходимости внешних «других» и о роли пространственных и временных факторов, на поверку могут оказаться плодами реификации исторически случайных обстоятельств. С другой стороны, есть множество эмпирических исследований<sup>1</sup> отдельных случаев, которые сложно обобщать в силу различий используемого концептуального аппарата и аналитического инструментария. Авторы большинства эмпирических работ ограничиваются ритуальным повторением теоретических «общих мест», в лучшем случае дополняя их констатацией собственных позиций по спорным темам, и редко ставят проблемы, выходящие за рамки исследуемых случаев.

Но пока вопросов, требующих эмпирического изучения, гораздо больше, чем ответов! Например, хотя большинство современных исследователей феномена «другого», разделяя конструктивистскую парадигму, склонны рассматривать его как динамическое отношение<sup>2</sup> (а не статическую характеристику), мы мало знаем о механизмах его конституирования и воспроизводства. Каким образом индивиды и группы наделяются свойствами «другого»? Что влияет на этот процесс? И поскольку нет оснований полагать, что он всегда протекает одинаково, то каковы его основные вариации? Можно согласиться с Т. Хопфом в том, что эти вопросы требуют

---

<sup>1</sup> Некоторые из них можно считать действительно «прокладывающими путь» – как, например, исследование конструирования границ между этническими группами норвежского антрополога Фредерика Барта и его коллег [Ethnic groups... 1969], которое не только стало серьезным аргументом в пользу конструктивистского подхода к исследованию идентичности, но и заложило традицию изучения культурных границ, которая существенно расширила наши представления о роли «других» для формирования человеческих коллективов.

<sup>2</sup> Не случайно в английском языке появился термин «othering», описывающий конструирование / артикуляцию / использование «другого» как процесс, в котором «я» выступает в роли агента.

эмпирических ответов [Hopf, 2002, p. 10]. Однако без теоретически сконструированных инструментов анализа, которые можно использовать для описания, сравнения и классификации, эмпирические исследования отношений «я» и «другого» обречены оставаться набором разрозненных case-studies.

Интересной попыткой продвинуться в этом направлении можно считать работу антропологов Герда Бауманна, Андре Гингрича и их коллег «Грамматики идентичности / друговости», опубликованную в 2004 г. По мысли авторов, определение идентичности / инаковости в рутинной практике индивидов основывается на социально разделяемых классифицирующих схемах или структурах – Бауманн и Гингрич называют их «грамматиками»: «Подобно тому, как в языке грамматика предлагает набор правил для формулировки предложений, эти социальные грамматики задают набор правил, по которым артикулируется друговость. Более того, эти грамматики приобретают нормативный статус в социальном или культурном контексте, который диктует предпочтительность или даже необходимость использования той или другой из них» [Grammars... 2004, p. xi]. Опираясь на труды классиков культурной антропологии, Бауманн и Гингрич выделили три грамматики различения «я» и «другого» (selfing and othering), которые их коллеги в дальнейшем подвергли проверке на разном этнографическом материале. *Грамматика ориентализма* (описанная в одноименной книге Эдварда Саида) диктует логику иерархически устроенной бинарной оппозиции, которая представляет «я» и «другого» в зеркальном отражении – прямом или перевернутом («что хорошо в нас, отсутствует у них» или «что мы утратили, они (еще) сохранили»). *Грамматика сегментации* работает на основе контекстуально зависимых шкал; она предполагает логику раскола или вражды на нижнем уровне сегментации (например, вражду между соседними племенами или фанатами соперничающих футбольных команд), преодолеваемую логикой сплавления или нейтрализации конфликта на верхнем уровне сегментации (например, консолидацию для сопротивления колонизаторам или объединение футбольных фанатов вокруг победителей на следующем уровне чемпионата). Идентичность / друговость в этой грамматике определяется контекстом, который ранжируется по уровням классификации. Логика этой грамматики наиболее последовательно проявляется в условиях отсутствия институализированной территориальной власти (в каче-

стве идеально-типического случая авторы рассматривали описание племени нуэров Э.Э. Эвансом-Причардом), но ее наиболее близким аналогом можно считать федеральную политическую систему, где противники и союзники могут меняться местами в зависимости от уровня выборов. *Грамматика охватывания* (encompassment) сочетает иерархическое признание различий на нижнем уровне с декларативной кооптацией «нижестоящей» категории в «вышестоящую» (получается, что различие – всего лишь фикция, обусловленная ракурсом обзора: то, что «снизу» кажется «другим», «сверху» охватывается общей идентичностью, назначаемой теми, кто осуществляет операцию «охватывания»). Материалом для этой модели послужила индийская кастовая система, как ее описал Луи Дюмон в «Homo hierarchicus»; но ее аналоги можно обнаружить и в современных практиках отнесения саморазличающихся групп к общим категориям «черных», «кавказцев», «мигрантов» и т.п.

По-видимому, набор «грамматик» в действительности не исчерпывается тремя классифицирующими схемами, описанными в книге под редакцией Бауманна и Гингрича. Кроме того, модели, разработанные антропологами, вряд ли можно автоматически перенести в другие социальные дисциплины<sup>1</sup>. Однако предложенный ими подход представляется весьма перспективным: ведь изучение внутренней логики разных способов конструирования / позиционирования / использования «другого» дает возможность от банального признания: «не бывает “я” без “другого”» – перейти к изучению разных модальностей формирования идентичности и диалогического включения / исключения, которые имеют разные социальные последствия.

Разумеется, разработка гипотетических моделей для последующего тестирования – не единственный способ решения данной

---

<sup>1</sup> До сих пор за рамками антропологии активно использовалась лишь одна из этих моделей – ориентализм. Стиль мышления, «основанный на онтологическом и эпистемологическом различии между “Западом” и “Востоком”», описанный Эдвардом Саидом [Said, 1979, p. 1], выявляется в широком спектре практик противопоставления «другому», география которых намного шире ареала, описанного автором термина (напомним, что Саид считал ориентализм явлением, характерным главным образом для Британии и Франции). Признаки ориентализма усматриваются не только в конструировании в качестве «других» Восточной Европы и России [Neumann, 1999; Kuus, 2004; Brown, 2010], но и в культурных механизмах современной гегемонии США [Nayak, Malone, 2009].

задачи. Весьма продуктивным может быть и использование шкал, позволяющих фиксировать элементы, из которых складывается инаковость. Некоторые исследователи [Neumann, 1999; Hansen, 2006] применяют для этой цели «оси отношения к другому», выделенные Цветаном Тодоровым. По мысли французского философа болгарского происхождения, это отношение «не задается всего одним измерением» – можно выделить по крайней мере три оси, по которым оно формируется: 1) аксиологическая (плох «другой» или хорош, стоит ли он на шкале ценностей ниже меня или наравне со мной), 2) праксиологическая (установка на сближение с «другим» или дистанцирование от него; на этой оси Тодоров выделяет три позиции: стремление подчиниться «другому», стремление подчинить его или безразличие), 3) эпистемологическая ось (степень знания «другого») [Todorov, 1992, p. 1992]. На наш взгляд, хотя формулировкам Тодорова несколько недостает операциональной точности, выделенные им оси позволяют различать существенные составляющие отношений «я» и «другого», которые могут варьироваться, образуя разные комбинации.

Поскольку конструирование «другого» наиболее полно проявляется в дискурсивных практиках, для их исследования требуется соответствующий инструментарий. В связи с этим несомненный интерес представляет работа Бейзы Текина, посвященная конструированию турецкого «другого» во французском дискурсе. Как справедливо отмечает Текин, до сих пор «прилагалось не так много усилий, чтобы показать эмпирически, как именно люди конструируют идентичности посредством противопоставления “другому” (othering)» [Tekin, 2010, p. 5]. Опираясь на наработки школы критического дискурс-анализа Р. Водак, он выделил основные темы французских публичных дискуссий о вступлении Турции в ЕС, а затем попытался классифицировать дискурсивные стратегии, используемые для ее репрезентации в качестве «другого» в соперничающих дискурсах. Обстоятельное описание методики этого исследования может быть полезно и другим исследователям, решающим сходные задачи.

С точки зрения получения эмпирических ответов на нерешенные теоретические проблемы наиболее заманчивые перспективы открывают сравнительные исследования. В числе немногочисленных работ такого рода можно выделить недавнюю статью Вячеслава Морозова и Бахара Румелили о роли России и Турции в

конструировании европейской идентичности. Хотя об этих «других» Европы написано уже немало, работа Морозова и Румелили не только добавляет новые аргументы к уже известным, но и представляет проблему в новом ракурсе. Ее авторы предлагают взглянуть на «другого» не как на пассивный объект соотнесения, а как на агента, который пытается оспаривать навязываемую ему идентичность и при этом трансформирует и даже подрывает доминирующий дискурс об идентичности «я». Россия и Турция успешно играют эту роль, поскольку они являются «пороговыми», гибридными случаями – представляются и как «Европа» и одновременно – как «не-Европа». Сравнивая влияние российского и турецкого дискурсов на конструирование европейских идентичностей с XVI–XVIII вв., Морозов и Румелили обнаруживают важные различия, особенно очевидные на современном этапе. Турецкие практики самопрезентации, с одной стороны, способствуют сближению с Европой, поскольку принимают нормативную власть ЕС определять содержание этого понятия; с другой стороны, они проблематизируют европейскую идентичность, оспаривая действенность одного из ее центральных элементов – мультикультурализма (отказ в признании турецкого «другого» – хороший повод для критики культурного европоцентризма). Российский же дискурс идентичности настойчиво сопротивляется попыткам ЕС определять для него ценности, но тем самым он лишь помогает консолидации европейского дискурса идентичности вокруг ЕС и формированию имиджа Европы как политического сообщества, опирающегося на либерально-демократические ценности [Morozov, Rumelili, 2012]. При этом если в конструировании турецкого «другого» преобладает культурное фреймирование, то в конструировании российского – политическое [ibid., p. 39].

Подводя итоги, можно сказать, что дискуссии, имевшие место в последние десять-пятнадцать лет, несколько скорректировали сложившиеся представления о фигуре «другого» и связке «я» – «другой» и поставили целый спектр задач, требующих эмпирического изучения и теоретического осмысления. Во-первых, стало понятно, что отношение «я» – «другой» не сводится к антагонизму и исключению, и речь должна идти о широком спектре вариантов «друговости», способных по-разному проявляться в отношениях с «я». В связи с этим то, что по-английски именуется *othering*, правильнее переводить на русский не как «противопоставление дру-

гому», а как «(со) отношение» с другим (где отношение является и динамическим, и двусторонним). Во-вторых, обсуждение вопроса о роли временных и пространственных аспектов друговости на примере идентичности безопасности ЕС поставило в исследовательскую повестку задачу изучения диалектики геополитики и политики памяти как способов воображения «другого». В-третьих, все еще нуждается в уточнении концепция «значимого другого» и в частности – факторы, определяющие «значимость». В-четвертых, для кумуляции результатов эмпирических исследований отношения «я» – «другой» необходимы усилия по развитию аналитического инструментария, включающего модели, шкалы и классифицирующие схемы, позволяющие выделять разные модальности формирования идентичности и диалогического включения / исключения, способные иметь разные социальные последствия. В-пятых, для получения ответов на вопросы, поставленные в ходе недавних дискуссий, нужна программа эмпирических, и прежде всего – сравнительных исследований, сочетающая разные методологические подходы и теоретические перспективы.

### Список литературы

- Крестинина Е.С.* Образ «другого» в структуре современной идентичности российского общества // Полис. Политические исследования. – М., 2011. – № 4. – С. 117–124.
- Морозов В.* Россия & Другие: Идентичность и границы политического сообщества. – М.: Новое литературное обозрение, 2009. – 656 с.
- Нойманн И.* Использование «Другого». Образы Востока в формировании европейских идентичностей. – М.: Новое издательство, 2004. – 336 с.
- Попова О.В.* Образ «Другого» // Политическая идентичность и политика идентичности. – М.: РОССПЭН, 2011. – Т. 1: Идентичность как категория политической науки: Словарь терминов и понятий / Отв. ред. И.С. Семененко. – С. 190–193.
- Abizadeh A.* Does collective identity presuppose an other? On the alleged incoherence of global solidarity // American political science review. – Cambridge, MA, 2005. – Vol. 99, N 1. – P. 45–60.
- Berenskoetter F.* Friends, there are no friends? An intimate reframing of the international // Millennium: journal of international studies. – L., etc., 2007. – Vol. 35, N 3. – P. 647–676.
- Brown J.D.J.* A stereotype, wrapped in a cliché, inside a caricature: Russian foreign policy and orientalism // Politics. – Chichester, etc., 2010. – Vol. 30, N 3. – P. 149–159.
- Bukh A.* Identity, foreign policy and the 'other': Japan's 'Russia' // European journal of international relations. – L., 2009. – Vol. 15, N 2. – P. 319–345.

- Campbell D.* Writing security. United States foreign policy and the politics of identity. – Manchester: Manchester univ. press, 1992. – ix, 269 p.
- Casula P.* «Primacy of your face»: changing discourses of national identity and national interest in the United States and Russia after the cold war // *Ab imperio*. – Kazan, 2010. – N 3. – P. 245–271.
- Clunan A.L.* The social construction of Russia's resurgence. Aspirations, identity, and security interests. – Baltimore, MD: John Hopkins univ. press, 2009. – 317 p.
- English R.D.* Russia and the Idea of the West. Gorbachev, intellectuals, and the end of the Cold War. – N.Y.: Columbia univ. press, 2000. – xii, 401 p.
- Ethnic groups and boundaries. The social organization of cultural differences / Ed. by F. Barth. – L.: Allen&Unwin, 1969. – 153 p.
- Grammars of identity/alterity: A structural approach / ed. by G. Baumann, A. Gingrich. – N/Y.: Berghahn books, 2004. – xv, 219 p.
- Godzimirski J.M.* Putin and post-Soviet identity. Building blocks and buzz words // Problems of post-communism. – L., 2008. – Vol. 55, N 5. – P. 14–27.
- Hansen L.* Security as practice: Discourse analysis and the Bosnian war. – L.: Routledge, 2006. – 259 p.
- Herman, R.G.* Identity, norms, and national security: the Soviet foreign policy revolution and the end of the cold war // The culture of national security: Norms and identity in world politics. – N.Y.: Columbia univ. press, 1996. – P. 271–316.
- Hopf T.* Social construction of international politics: Identities and foreign policies, Moscow, 1955 and 1999. – Ithaca: Cornell univ. press, 2002. – xvi, 299 p.
- Johnson C., Coleman A.* The internal other: exploring the dialectical relationship between regional exclusion and the construction of national identity // *Annals of the association of American geographers*. – N.Y., 2012. – Vol. 102, N 4. – P. 863–880.
- Kuus M.* Europe's eastern expansion and the reinscription of otherness in East-Central Europe // *Progress in human geography*. – L., 2004. – Vol. 28, N 4. – P. 472–489.
- McDonagh K.* 'Talking the talk or walking the walk': Understanding the EU's security identity // *Journal of common market studies*. – Oxford, 2015. – Vol. 53, N 3 – P. 627–641.
- Morozov V., Rumelili B.* The external constitution of European identity: Russia and Turkey as Europe-makers // *Cooperation and conflict*. – L., 2012. – Vol. 47, N 1. – P. 28–48.
- Nayak M.V., Malone Ch.* American orientalism and American exceptionalism: A critical rethinking of US hegemony // *International studies review*. – L., 2009. – Vol. 11. – P. 253–276.
- Neumann I.B.* Uses of the other. "The East" in European identity formation. – Manchester: Manchester univ. press, 1999. – xv, 281 p.
- Norton A.* Reflections on political identity. – Baltimore, MD.: The John Hopkins univ., 1993. – viii, 209 p.
- Petersoo P.* Reconsidering otherness: constructing Estonian identity // *Nations and nationalism*. – Oxford, 2007. – Vol. 13, N 1. – P. 117–133.
- Prozorov S.* The other as past and present: beyond the logic of «temporal othering» in IR theory // *Review of international studies*. – Cambridge, 2011. – Vol. 37, N 3. – P. 1273–1293.

- Representations of the “other/s” in the Mediterranean world and their impact on the region / ed. by N. Kuran-Burçoğlu, S. Gilson-Miller. – Istanbul: Isis press, 2004. – 308 p.
- Rumelili B.* Constructing identity and relating to difference: Understanding the EU’s mode of differentiation // *Review of international studies*. – Cambridge, 2004. – Vol. 30, N 1. – P. 27–47.
- Said E.W.* Orientalism. – N.Y.: Vintage books, 1979. – xi, 394 p.
- Smith A.* National identity and the idea of European unity // *International affairs*. – L., 1992. – Vol. 68, N 1. – P. 56–76.
- Tekin B.C.* Representations and othering in discourse: the construction of Turkey in the EU context. – Amsterdam: John Benjamin’s publishing company, 2010. – xi, 270 p.
- Todorov T.* The conquest of America. The question of the Other / Transl. from French by R. Howard. – N.Y.: Harper Perennial, 1992. – X, 274 p.
- Triandafyllidou A.* National identity and the ‘other’ // *Ethnic and racial studies*. – L., 1998. – Vol. 21, N 4. – P. 593–612.
- Waever O.* European security identities // *Journal of common market studies*. – Oxford, 1996. – Vol. 34, N 1. – P. 103–132.